

Рой Якобсен

НЕЗРИМЫЕ



BLACK SHEEP BOOKS



Рой Якобсен

Незримые

«Белая ворона/Albus corvus»

2013

Якобсен Р.

Незримые / Р. Якобсен — «Белая ворона/Albus corvus», 2013

ISBN 978-5-001143-77-2

Хронологические рамки романа – с 1913 по 1928 гг. Повествование полностью посвящено жизни одной семьи на острове Баррёй в Северной Норвегии. Остров маленький, на нем живет всего одна семья: супруги Ханс и Мария, отец Ханса Мартин, сестра Ханса Барбру, психически не совсем нормальная, и маленькая дочь Ханса и Марии по имени Ингрид. В начале повествования девочке около трех лет. Начинается война, и на Баррёе появляются пятеро шведов. Один из них, Ларс Клемет, приходится по вкусу Барбру. Вскоре у нее рождается сын, которого называют Ларсом. Ингрид идет в школу на материке, возвращаясь на выходные домой. Мария пристраивает ее няней, в семью обеспеченного торговца. Новая жизнь Ингрид нравится, но проходит еще какое-то время и родители детей, за которыми присматривает Ингрид, внезапно исчезают. Позже выясняется, что отец семейства покончил с собой, а мать отправили в приют для умалишенных в Будё. Ингрид возвращается на остров, забрав с собой и детей хозяина. Внезапно умирает Ханс, а Мария впадает в депрессию. Главой семьи становится подросток Ларс. Ингрид чувствует себя хозяйкой дома. Вместе с Ларсом они налаживают торговлю рыбой и гагачьим пухом. Рой Якобсен (р. 1954) считается одним из самых значительных авторов в современной Норвегии. Он стал первым норвежским писателем, вошедшим в шорт-лист Международной Букеровской премии и Международной литературной Дублинской премии IMPAS за роман «Незримые», ставший бестселлером почти во всех 30 странах, где был издан.

ISBN 978-5-001143-77-2

© Якобсен Р., 2013

© Белая ворона/Albus corvus, 2013

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	10
Глава 3	12
Глава 4	14
Глава 5	16
Глава 6	17
Глава 7	20
Глава 8	21
Глава 9	24
Глава 10	25
Глава 11	26
Глава 12	28
Глава 13	30
Глава 14	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Рой Якобсен Незримые

Roy Jacobsen
De usynlige
Roman

*Перевод с норвежского
Анастасии Наумовой*



BLACK SHEEP BOOKS

This translation has been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad



Copyright © CAPPELEN DAMM AS 2013
Original title: De usynlige
Text © Roy Jacobsen
Copyright © CAPPELEN DAMM AS 2013

Публикация на русском языке осуществлена при содействии Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency

© Анастасия Наумова, перевод на русский язык, 2022

© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2022

Глава 1

В этот безветренный июльский день дым столбом поднимается в небо. Священник Юханнес Малмберге держит путь на остров, где его дожидается Ханс Баррёй, крестьянствующий рыбак, законный владелец острова и глава единственного проживающего там семейства. Стоя на причале, который его предки соорудили из собранных на берегу камней, он наблюдает за приближающимся яликом, вглядывается в ссутуленные спины гребцов в черных кепках и маячащее за ними улыбающееся, свежесбрившееся лицо священника. Когда лодка приближается, Баррёй кричит:

– А вот и знать к нам пожаловала!

Священник встает и окидывает взглядом камни у берега, луг за ними, который раскинулся до обсаженных деревьями построек, прислушивается к крикам чаек – те облюбовали утесы неподалеку и совсем по-гусиному вякают «квакк-квакк», к крачкам и болотным птицам, деловито роющимся в белоснежных песках под безжалостным солнцем.

А когда он выходит из ялика и проходит несколько шагов по молу, ему открывается доселе невиданное зрелище – его родная деревня у подножья гор на острове Хуведёя, с Баррёя видно факторию, и домишки, и поля, и лесные делянки, и лодки.

– Господи, ну ты глянь, какая она махонькая, и домов не видать.

На что Ханс Баррёй отвечает:

– Да бросьте, дома еще как видать.

– У тебя зрение получше моего, – священник рассматривает место, на служение которому у него ушли последние тридцать лет, но которое ему еще ни разу не доводилось видеть в таком удивительном ракурсе.

– Да, вы у нас еще не бывали.

– К вам грести два часа, не меньше.

– Так ведь и парус наладить можно, – возражает Ханс Баррёй.

– Сейчас штиль, какой тут парус, – священник упорно смотрит на родную деревню, а правда заключается в том, что он жутко боится моря и только что проделанное путешествие, пускай и безмятежное, нагоняет на него дрожь и волнение.

Гребцы вытаскивают трубки и, усевшись спиной к говорящим, закуривают. Священник наконец пожимает Хансу Баррёю руку, в ту же секунду замечает остальных домочадцев, тоже спустившихся на причал: старика Мартина, отца Ханса, уж лет десять как вдового, Барбру, сестру Ханса, но намного его моложе. И хозяйка, Мария, она держит за руку трехлетнюю Ингрид. Все они, с радостью подмечает священник, разодеты в пух и прах, небось высмотрели лодку, еще когда она Отерхолмен огибала, теперь он черной шляпой нахлобучен на море далеко на севере.

Священник шагает к группке людей, стоящих, опустив глаза, и пожимает им по очереди руку. Взгляда никто не поднимает, даже старый Мартин, снявший красную вязаную шапку. Наконец очередь доходит до Ингрид, и священник замечает, что ручки у нее чистенькие и белые, даже под ногтями не черно, да и сами ногти не обкусанные, а остриженные, и на руках, там, где со временем выступят костяшки, виднеются маленькие ямочки. Он замирает, разглядывая это крохотное чудо, и думает, что и оно скоро превратится в натруженную женскую руку, жилистую, землистого цвета, мозолистую, будто деревянную, лапищу, какие бывают у мужчин, – такими тут рано или поздно становятся руки у всех, и говорит:

– Вот и ты, дитя мое. Ты в Бога веришь?

Ингрид не отвечает.

– Да верит, конечно, а как же иначе-то? – говорит Мария, первой отважившись посмотреть на гостя. Но в эту самую секунду тот снова делает прежнее открытие и, живо прошагав

мимо лодочного сарая, лестничной ступенькой торчащего из земли, поднимается на пригорок, откуда открывается вид получше.

– Даже мой дом видать!

Ханс Баррёй, проходя мимо, говорит:

– А отсюда вы и церковь разглядите.

И идущий следом священник любит выбеленной церквушкой – выцветшей маркой лепится та к черным горам, на которых белеют последние плюхи снега, словно оставшиеся в гнилой пасти зубы.

Малмберге и Баррёй шагают дальше, обсуждая крестины, и рыбный лов, и гагачий пух; священник в восторге от острова. Если смотреть из дома, Баррёй похож на черный камень на горизонте, но на самом деле здесь плодороднейший сад, вот вам крест, впрочем, таковы здесь многие острова, где живет лишь одна или две семьи, – Стангхолмен, Свейнсёйя, Лютвэр, Скарвен, Мосвэр, Хавстейн, горстка обитателей на целый остров, они возделывают скудную землю, и ловят рыбу в морской пучине, и рожают детей, а те, вырастая, возделывают ту же землю и ловят в том же самом море рыбу, местные острова не суровая и бесплодная твердь, они – точно ожерелье из жемчугов, точно золотая цепочка, таким рисует их священник в своих самых вдохновенных проповедях. Тогда отчего же Юханнес Малмберге такой редкий гость тут?

Море – вот ответ.

Священник – сухопутная крыса, а дней, подобных сегодняшнему, в году немного, и этого дня священник ждал все лета. Открывшийся ему сейчас вид подобен откровению, поэтому он стоит возле поросшего травой помоста на сеновал и смотрит на свой вековечный церковный приход, пристанище Господа еще со Средневековья; священник впервые глядит на него со стороны, и он почти раздосадован – долгие годы он ходил будто бы с завязанными глазами или и вовсе его всю жизнь обманывали, и речь не только о размерах вверенного ему прихода, а еще и о его духовном труде, возможно, труд этот тоже едва заметно?

Мысль эта, к счастью, скорее тревожит его, чем пугает, в море все относительно, расстояния лгут, и священник уж готов расстаться с неприятной мыслью, как вновь появляется все семейство: старик, опять надевший шапку, за ним статная Мария и следом крепко сбитая Барбру, которую священнику по совокупности довольно непонятных причин в свое время не удалось подтвердить, молчаливое дитя Господне, выросшее на клочке суши посреди моря, на поверку оказавшемся сокровищем.

Разговор идет о предстоящих крестинах трехлетней Ингрид, у нее длинные и черные, как смоль, волосы, глаза блестят, а ноги не увидят обуви до конца октября. Откуда у нее такие глаза, напрочь лишенные тупой лени, присушей бедноте?

Охваченный эйфорией, священник роняет, что счастлив будет, если во время крестин Барбру споет, ведь, если ему не изменяет память, у нее такой чудесный голос?

Семейство смущено.

Ханс Баррёй отводит пастора в сторону и объясняет, что голос-то у Барбру хоть куда, этого не отнять, вот только псалмов она не знает, а звуки издает, какие сама считает подходящими, и хотя она, как правило, попадает в ноты, что есть то есть, однако из-за этого всего ее в свое время и не подтверждали, ну и еще по другим причинам, но их пастор наверняка сам помнит.

Эту затею Юханнес Малмберге готов оставить, однако имеется еще один вопрос, который ему хочется обсудить с Хансом Баррёем, а именно загадочная надпись на могиле матери Ханса. Надпись эта беспокоит его с тех самых пор, как мать Ханса похоронили. По ее собственной воле на могильной плите выбили строку, какую не пристало писать на могилах, она двусмысленная, и в ней чуть ли не утверждает, будто жизнь не стоит усилий. Но и на эту тему Хансу говорить неохота, поэтому пастор снова вспоминает про гагачий пух: ему нужны два новых

одеяла, поэтому если у них есть сколько-нибудь пуха на продажу, то он готов заплатить больше, чем дадут на ярмарке или в фактории, как говорится, гагачий пух на вес золота...

Переключившись тем самым на темы, наконец, более приземленные и понятные, они за разговором входят в дом, где Мария накрыла в парадной комнате стол, они пьют кофе с лефсе¹ и толкуют о продаже, и пастор, преисполненный совершеннейшего умиротворения, чувствует, что величайшим благом для него сейчас был бы сон. Глаза его смеживаются, дыхание делается глубоким и ровным. Он покачивается в принадлежащем Мартину кресле-качалке, сложив руки на коленях. Священник, который спит у них в доме, зрелище внушительное и одновременно забавное. Они стоят и сидят вокруг него все время, пока он спит, наконец пастор открывает глаза, причмокивает, встает и озирается, словно не понимая, где находится. Потом узнает их и кланяется. Вроде как в благодарность. За что он их благодарит, они не знают, а он ничего не говорит, и они провожают его к лодке и наблюдают, как он, положив рядом мешок гагачьего пуха и поставив небольшой бочонок чаячьих яиц, приваливается к сетям на ахтерштевне и снова прикрывает глаза, поэтому кажется, будто он покидает их спящий. Дым по-прежнему столбом поднимается в небо.

¹ Лепешки из картофеля и муки (здесь и далее примечания переводчика).

Глава 2

Все мало-мальски ценное приходит на остров извне – все, кроме земли. Однако островитяне здесь не благодаря ей, и сами они носят в себе тягостное осознание этого. Вот и сейчас у Ханса Баррёя сломалось последнее косовище и он вынужден прервать сенокос. Смастерить новое косовище из того, что имеется на острове, не получится – нужен ясень, который только в фактории купишь, ну или самому выстругать, бесплатно, но из другого дерева.

Ханс втыкает лезвие косы в стожар, доходит по тропинке до причала и, вытолкнув на изумрудно-зеленую воду лодку, уже собирается было запрыгнуть в нее, но меняет решение и возвращается к дому, где Мария, сидя возле южной стены, латает штаны. Увидев, что Ханс выворачивает из-за угла, она поднимает голову.

– Где девчонка? – нарочито громко спрашивает Ханс. Он знает, что Ингрид его видела и спряталась, чтобы он искал ее, а найдя, подхватил и окружил.

Мария чуть кивает в сторону погреба с картошкой. Но отец все так же громко говорит, что тогда Ингрид он с собой не возьмет, кстати, он на Скугхолмен собрался, и даже делает несколько шагов в обратную сторону, однако успевает пройти всего пару метров, как слышит сзади ее шаги и приседает на корточки. Ингрид запрыгивает ему на спину, обвивает руками шею и вопит, а он скачет как конь к морю, издавая звуки, на которые отваживается, лишь когда рядом никого, кроме нее, нет.

Вот только смех у нее...

Он спрашивает, надо ли взять с собой овчину.

– Да! – кричит девочка и хлопает в ладоши.

Ханс идет в лодочный сарай и берет одну из овечьих шкур, кладет ее на ахтерштевень, соорудив в лодке что-то вроде лежанки. Снова идет на берег, подхватывает дочку на руки и переносит на лодку, девочка ерзает, устраиваясь поудобнее, откидывается на штевень и, пока отец гребет, озирается, вертит из стороны в сторону головой и выглядывает из-за борта, уцепившись белыми, словно червяки-пескожила, пальчиками за угольно-черную обшивку лодки.

Ее смех...

Ханс огибает мыс и прокладывает среди россыпи островков и шхер кратчайший курс на Скугхолмен, толкуя о состоявшихся три недели назад крестинах; церковь украсили пышно, еще бы, крестили восьмерых детей с островов, однако лишь Ингрид способна была самостоятельно дойти до купели и назвать собственное имя, когда священник спросил, как будут звать ребенка. Так что, говорит отец, она уже большая стала и негоже ей валяться, как мертвой, на овчине, могла бы и пользу приносить, грести, например, или леску закинуть, глядишь, привезли б тогда домой не только заготовки для косовища, но и парочку сайд. Ингрид отвечает, что большой ей вырастать не хочется, и перевешивается сперва через левый борт, а потом через правый, хоть Ханс и велел ей сидеть в лодке смирно. Он меняет курс – если прежде правил на Отерхолмен, то сейчас двинулся на сосну, растущую на южной оконечности Молтхолмена, снова меняет курс через восемьдесят гребков и проводит лодку между шхерами Лундешэрене, как раз там, где вода сейчас высокая, а после, табаня, обходит гору и приближается к ней с внутренней стороны островка, там, где когда-то вбил в скалу крюк.

Ханс велит дочке выйти со швартовочным тросом на берег, и Ингрид стоит на берегу и, будто корову на привязи, держит лодку за трос, а Ханс выпрямился и огляделся, точно тут есть на что глядеть – птицы в небе, горы вдаль, за его родным Баррёем, и пронзительные крики крачек, бело-черными полосами рассекающих воздух над ними. Ханс выходит из ялика и показывает девочке, как вязать шлаг. У нее не получается, он показывает заново, они завязывают его вместе, и она смеется, шлаг на крюке. Отец разрешает ей поплавать в исполиновом котле, а то в лесу, куда он пойдет, полным-полно насекомых.

– Только одежду снять не забудь.

В ложбине, протянувшейся с севера на юг, в небольшой рощице, он отыскивает четыре прямых деревца, не ясень, но нечто, что настолько далеко на севере обычно не растет, и у одного возле корня имеется изгиб, значит, в него удобно будет упираться плечом. Такой удачи Ханс и не ожидал. Он закидывает заготовки на плечо, поднимается на гору и сваливает добычу возле вымоины, где по шею в воде сидит Ингрид, разглядывая свои руки, сплетая под водой пальцы и хлопая по ней ладонями. Брызги дождевой воды летят ей в лицо, отчего она вопит и корчит рожи. Опять этот смех. И Ханса накрывает беспокойство, не покидающее его с рождения дочери.

Он откидывается навзничь, прижав лопатки к бугристой скале, упершись затылком в камни, смотрит на сонм крачек в небе и слушает болтовню Ингрид, обычные вопросы, какие задает любой ребенок, и призывы тоже прийти искупаться, плеск воды и ленивый восточный ветер, соль на губах, пот и море, он исчезает в круговерти света и тьмы и, очнувшись, щурится на Ингрид. Она стоит в лучах солнца совершенно голая и спрашивает, можно ли ей вытереться одеждой.

– Вот, возьми-ка, – он снимает с себя рубаху и протягивает ей, она смеется, потешается над тем, какая бледная у него кожа под рубашкой и какие чернющие руки и шея, он похож на куклу, которую смастерил ей из разномастных деталек – как порой бывает у детей, и это тоже нормально, куклу зовут иногда Оскаром, а иногда Анни.

На обратном пути им поймались три сайды, они лежат у нее в ногах, а сама Ингрид сидит, завернувшись в отцову рубаху. Он просит вернуть ему рубаху: сейчас, к вечеру, холодает. Ингрид падает на овчину и, ухватившись руками за ноги и поддразнивая его, выглядывает из-за собственных коленок.

– И все-то тебе потешно, – говорит он и думает, что разницу между шутками и строгостью она понимает, плачет редко, не упрямая и не строптивая, никогда не хворает, все, что надо, схватывает, пора бы ему изжить это беспокойство.

– Не возьмешь? – он кивает на рыбу.

– Фу, скользкие!

– Это ты с чего взяла?

– Мама так говорит.

– Мама у нас нежная. Но мы-то нет?

Сунув в рот два пальца, она задумывается.

– Чайки оголодали, – говорит он.

Ингрид разрывает самой большой рыбине брюхо, вытаскивает потроха и с отвращением разглядывает их. Ханс меняет направление, а Ингрид кидает за борт рыбы потроха, глядя, как чайки устремляются к ним, как разбрызгивают воду, как расклеивают пищу и дерутся не на жизнь, а на смерть. Ингрид сует руку во вторую рыбину, швыряет потроха птицам и, перевернувшись за борт, по очереди прополаскивает рыбину, после чего раскладывает их на дне лодки, самую крупную – ближе к правому борту, среднюю посередине, а маленькую возле левого борта. Потом она долго и тщательно моет руки, нет, голова у этого ребенка без изъянов, – и Ханс успокаивается. Прикрыв глаза, он по движению лодки чувствует, что дочка по-прежнему свешивается за борт и водит по воде рукой. На перекосившейся лодке он возвращается домой и лишь наполовину вытаскивает ее на берег, подперев чурбаками, пока вода не спадет.

Девочка бежит перед ним по тропинке, она тащит улов, и последние капли рыбьей крови катятся по шуплым ножкам. На плече у Ханса четыре заготовки для косовища, под мышкой топор, в руке – сухая дочкина одежда. Остановившись, он смотрит на северо-запад, небо тусклое, подернуто дымкой, вскоре покажется луна, и Ханс не знает, как лучше – взяться чинить косу прямо сейчас или прилечь на несколько часов, пока в Розовом саду не выпадет утренняя роса. Роса всегда сперва выпадает в Розовом саду, там, где трава удивительного красного цвета.

Глава 3

На острове все, выброшенное на берег, принадлежит тем, кто это нашел, а находят островитяне немало: пробки, и бочки, и пеньку, и плавник, и кухтыли – зеленые и коричневые стеклянные шары, которые удерживают на плаву рыболовные снасти. Когда шторм уляжется, старик Мартин вытаскивает из сбившихся в комок водорослей кухтыли, усаживается в лодочном сарае и обвязывает их новыми веревками, так что кухтыли делаются как новые. Бывает, на берег выбрасывает деревянные игрушки для Ингрид, ящики из-под рыбы и весла, багры, носовые роульсы, черпаки, жердь для сушки рыбы, доски и обломки лодок. Однажды зимней ночью морем выбросило капитанскую рубку. Островитяне впрягли лошадь и дотащили рубку до южной части острова, и теперь Ингрид сидела на капитанском стуле, вертела отделанный латунью штурвал из красного дерева и смотрела на поляны и изгороди, волнами протянувшиеся по острову.

Изгородей восемь.

Они сложены из камней, земля выбрасывает камни так же, как море выбрасывает кухтыли, только намного медленнее, чтобы земля родила камень, нужно много зим, но потом, весной, обитатели острова собирают их и укладывают в изгороди, отчего те постепенно растут. Изгороди делят остров на девять лугов или, как их тут называют, садов. Южный сад самый многотрадальный, на него набрасывается море во всю мощь своего невыносимого нрава. Дальше идет Выменной сад – откуда у него такое название, никто не знает, но, возможно, благодаря поросшим зеленой травой каменистым холмам, похожим на большие и маленькие женские груди, красивые и аккуратные особенно к концу сенокоса, когда их под чистую объедают овцы. За ним следует Каменный сад, где камней больше, чем на других полянах, потом Розовый сад с красной, словно недозревшая рябина, травой. Домовый сад раскинулся вокруг усадьбы, Райский сад располагается с северной стороны, и тем не менее он самый плодородный, именно тут всегда сажают картошку, затем идут Паршивый сад, Северный сад и Бедный сад, чьи названия говорят сами за себя, хотя Бедный сад – самый зеленый, огромным зеленым тюфяком распростерся он возле лодочного сарая и причала.

Но в основном на берегу находят мусор.

Они находят тушки морских свиней, и гагарок, и бакланов, раздутые от зловонных газов, бродя по гниющим водорослям, набредают на половину ботинка, и шляпу, и нарукавную повязку, и костыль, и обломки чужих жизней, свидетелей наводнения, нерадивости, утраты и транжирства, и несчастий, постигших людей, о которых они никогда не слышали и которых никогда не увидят. Время от времени они находят невольную, не поддающуюся толкованию весточку: пальто с карманами, битком набитыми английскими газетами и табаком, венок с морского захоронения, французский триколор на измочаленном флагштоке и покрытую слизью шкатулку с интимнейшими предметами туалета, принадлежавшую когда-то уроженке экзотических краев.

Изредка им попадаются и бутылки с посланиями, которые сочатся тоской и признаниями и адресованы явно не тем, кто их находит, но если бы обнаружившие их вдруг отыскали бы верного получателя, тот уж точно пролил бы реки слез и перевернул бы мир. Островитяне же со всей своей рассудительностью откупоривают эти бутылки, достают письма и, если понимают язык, читают их и делают выводы об их содержании, выводы робкие и недалекие, такие бутылки – загадочные посланники тоски, надежды и непрожитых жизней, потом письма складывают в ящик для предметов, которым нет применения, но которые нельзя выбрасывать, а бутылку кипятят и наливают в нее компот из красной смородины или просто-напросто оставляют на окне в хлеву как свидетельство пустоты, и солнечный свет, проникая внутрь, впитывает ее зелень, преломляется и зеленил сухие травинки на полу.

Но как-то утром Ханс Баррёй нашел целое дерево – шторм вынес его на берег и оставил на южной оконечности острова. Гигантское дерево. Он собственным глазам не поверил.

Снег танцевал в такт с ветром, и дерево лежало на берегу, будто скелет доисторического животного или китовый остов, растопырив корни и ветви, но без иголок, обглоданных морем. Тонна живицы, такой ценной в большом мире, ведь ею смазывают смычки знаменитые скрипачи и звук становится чище. Это русская лиственница, и много столетий она росла на берегу Енисея, к югу от Красноярска, в густой тайге, которую расчесывали гребни ветров, пока весеннее половодье с зубами из льда не повалило ее в реку и не отшвырнуло за три-четыре тысячи километров, в Карское море, где ее схватили цепкие когти соленых течений и потащили на север, к вечным льдам, а оттуда к западу, мимо Новой Земли и Шпицбергена до берегов Гренландии и Исландии, и там теплые течения, высвободив ее из хватки холодных, снова унесли на северо-восток; на этот величественный путь длиной в полушарие понадобилось десятилетие или два, пока наконец последним штормом дерево не выбросило на остров у побережья Норвегии, где в предрассветных октябрьских сумерках его и обнаружил Ханс Баррёй, лишившийся от удивления дара речи.

В этих краях еще не видали дерева мощнее.

Он бросился в дом и позвал родных.

Островитяне принимаются разделять добычу: они обламывают ветки, отпиливают корни и укладывают их у северной стены хлева, все это пойдет на дрова, после чего дело доходит и до ствола, чурбан за чурбаном пока от ствола не остается романская колонна метров тринадцать длиной, и до двора ее никак не дотащить, даже если впрячь лошадь с талью и впятером поднапрячься. Закрепив ствол, они отправляются домой, где засыпают в раздумьях, вымотанные и благодушные. А весной, во время большого прилива, они оттаскивают дерево еще на несколько метров вверх по берегу, но там оно и лежит, словно опрокинутый мраморный столп.

Ханс с Мартином еще отпилили от него два чурбана, на это у них целый день ушел, и заметили, что ближе к центру ствола ядровая древесина краснее и твердая, будто стекло, хотя если ткнуть ножом, все равно чувствуется ее пористость. Они скоблят ее и растирают пальцами, нюхают и по запаху понимают, что разрубить эту диковину, чтобы потом сжечь в печке, невозможно. Дерево – единое целое, и надо сберечь его. Когда-нибудь, в другое время, они найдут ему применение или продадут, за него состояние можно выручить.

Последним невероятным усилием они закатали ствол на три чурбака, чтобы с древесины осыпалась трава, вбили в землю с обеих сторон по четыре полена и вколотили в них болты, прикрепив полена к дереву. Ствол дерева лежит там и поныне, столетие спустя, белым валом возвышаясь над морем. Кажется, будто его там забыли, кажется, будто когда-то оно для чего-то использовалось, будто ему находилось применение.

Глава 4

Покинуть остров никому не под силу, остров – это маленький космос, где звезды спят в траве под снегом. Но бывает, что кто-то пытается. В день одной такой попытки дует слабый восточный ветер. Ханс Баррёй поставил парус, и расстояние до фактории они преодолевают быстро. На борту вся семья, кроме старого Мартина – тот особых надежд на эту поездку не возлагает.

Они собираются попрощаться с Барбру. Ей двадцать три, пришло время идти в услужение, ей и место уже подыскали.

Лодка швартуется возле фактории, и Ингрид ведет Барбру наверх, к мелочной лавке и поселку, где деревья упираются в небо, а дома покрашены и стоят так близко друг к другу, что из одного дома в другой можно добежать, не надевая верхнюю одежду.

Никого, кроме Ингрид, Барбру держать за руку не соглашается, ведь она знает, куда ее ведут. Перед магазином они останавливаются, все взгляды обращены на них, островитян, уж больно редко они сюда наведываются. Ингрид нарядили в синее платье и серую вязаную кофту, по воротнику и рукавам отделанную зелеными блестящими кристалликами. На Барбру желтое платье и коротковатый сермяжный жакет. Она говорит, что хочет леденец на палочке.

Ханс, идущий следом, не возражает – пускай возьмет себе леденец. Но выйдя из мелочной лавки, Барбру отказывается идти дальше, в усадьбу Томмесенов, хозяйка которой, Грета Сабина, согласилась взять Барбру в служанки, если плата ограничится едой и ночлегом. Хансу с Марией приходится силком тащить Барбру, а сзади идет Ингрид, украдкой бросая взгляды на ватагу детишек, которые следуют за ними. Многих из них она и прежде видела, в церкви и фактории, двоих она знает по именам, четверых узнает в лицо, однако никто из них не улыбается, и сама Ингрид тоже отворачивается и бежит за своими, в сад, посреди которого стоит белый домик с тяжелой темной дверью с филенками, она открывается, и они входят в другую часть света.

Но там Грета Сабина Томмесен умудрилась трижды назвать Барбру душой, показывая им комнату, где Барбру предстояло спать вместе с остальными служанками – они тоже с островов, только намного моложе Барбру. Грета Сабина Томмесен растолковала, что, когда придет сельдь, дуру могут и на факторию отправить, даже посреди ночи, как и всех остальных женщин в доме:

– Она с сетями умеет управляться?

– Да-да, – отвечает Мария, – а еще она с готовкой хорошо управляется, шерсть чешет, и прядет, и носки вяжет...

– А она чистоplotная?

– Видите ж.

– Барбру, ты понимаешь, что я говорю? – кричит она Барбру, а та кивает и, запрокинув голову, не сводит глаз с хрустальной люстры прямо над ней, похожей на звездное небо, в котором тонет взгляд, но от этого взгляда затекает шея. А Грета Сабина Томмесен заявляет Марии, что на новую одежду ее золовке рассчитывать нечего и придется ей довольствоваться тем, что у нее с собой, и Ханс смотрит на сестру, как она не может глаз отвести от новой солнечной системы на потолке, – и принимает решение: взяв Барбру за руку, другой рукой подхватывает крохотный чемоданчик и шагает к выходу. На обратном пути он опять останавливается возле мелочной лавки, дожидаясь, когда их догонят Мария с Ингрид. Супруги переглядываются. Он кивает на дверь. В ответ она тоже кивает. Они заходят, покупают сахар, кофе, две упаковки четырехдюймовых гвоздей, ведро дегтя, крупу саго, корицу, бочонок крупной соли, заказывают три больших мешка ржаной муки, забрать которую надо будет через четыре дня, и, покинув лавку, несут покупки к лодке, садятся в нее и ставят парус.

Море принимает их ласково.

Вот только Ханс не желает смотреть на сестру. Он садится по другую сторону от румпеля, так что от Барбру его отделяет парус. Однако от взгляда Марии ему не спрятаться. Ей двадцать семь, она полна сил и родом с другого острова, ей, окончившей школу домоводства, повсюду рады были бы, но она выбрала Баррёй и его, тридцатипятилетнего Ханса Баррёя, а он теперь прячется от собственной сестры, он раздосадован, и ему стыдно, стыд и желание спрятаться – они неотделимы друг от друга, но Мария не сводит с него глаз, не отступает, пока Ханс не кивает – мол, да, я болван. Тогда она переводит взгляд на волны, и губы у нее складываются в несносную улыбку, от которой Мария делается еще более непобедимой.

На причале их ждет старый Мартин.

– Я ж вам говорил, а?

Он бредет к лодке, переставляет на сушу чемоданчик и за руку ведет к дому дочь, а Ингрид бежит рядом и рассказывает о поселке, пока голос ее не тонет в чайчьих криках. Мария с Хансом стоят на причале и размышляют, прикатить ли тачку или донести покупки.

– Так мы и сами дотащим, нет разве?

Она идет перед ним. Он выпускает из рук покупки и хватает ее за бедра, и оба они падают в высокую траву, где даже Господь не разглядит их и не услышит ни ее сдавленных стонов, ни того, какими именами называет она его, не увидит улыбки, подобной той, какая незадолго до этого утонула в волнах. Улыбки, которую ему удалось вернуть. После подниматься им лень – они лежат и смотрят в небо, а она рассказывает, как однажды в ее детстве на острове Бюёй крышу хлева так засыпало зимой снегом, что хлев рухнул. Он слушает и раздумывает, к чему она клонит, он вечно ломает над этим голову: о чем Мария думает и чего она хочет? Вдруг над ними возникает Ингрид и спрашивает, куда они подевались, а то Барбру не знает, чего приготовить: селедку, сайду или палтуса, которого отец вчера поймал на перемет.

– Пойду палтуса пошкерю, – Ханс встает и все-таки прикатывает тачку, загружает на нее мешки, сажает Ингрид и катит тачку к дому, а Мария остается лежать. На этом острове она – единственный философ и, бывает, посматривает косо, потому что родом с другого острова и ей есть с чем сравнить, это называется опытом или даже мудростью, но кое-что оценить ей сложно, и зависит это от того, насколько острова разные.

Глава 5

На Баррее растут три ивы, четыре березы и пять рябин, одна из которых вся в шрамах и толстая, как бочка, называют ее Старая рябина. Все двенадцать деревьев клонятся туда, куда наклонила их природа.

В западной части острова, на пригорке, есть еще несколько березок, поменьше и совсем чахлах. Они стоят словно в обнимку, и местные называют это место Рощей любви, однако когда дует ветер, березы растопыривают ветки во все стороны.

Кроме того, у них растет огромная ива, которая, точнее сказать, стелется по земле и, насколько у островитян хватает памяти, она все время вот так лежала, будто на коленях, отделяя Розовый сад от Выменного. Предки не стали ее рубить и вместо этого выложили изгородь углом, вдоль ствола. Это, пожалуй, единственное дерево на острове, рубить которое нельзя. Не то чтобы кто-то собирался срубить остальные деревья, хотя древесина здесь ценна и необходима и такая мысль порой закрадывается кому-нибудь в голову. Но иву между двумя садами рубить никто не стал бы: она уже и так лежит и поэтому считается заповедной, как могила.

На самых больших рябинах возле дома висят гигантские сорочьи гнезда. Сороки гадят и таскают всякую мелочевку, и поэтому островитяне часто их проклинают и грозятся разорить гнезда. Но и до этого у них руки не доходят, и когда эти громадные гнезда выдерживают очередную битву со штормом и побеждают, островитяне стоически говорят с облегчением, что и на этот раз ничто не пострадало, а ведь так бывает далеко не всегда.

Если же дождь или снег для разнообразия падают не под углом, а отвесно, то в траве под гнездом на Старой рябине остается сухой круг. Туда сбиваются овцы. Особенно же дождь досажает ягнятам, и в кругу появляются кучки испражнений, поэтому под каждым гнездом чернеет своеобразное свидетельство жизненного цикла, все взаимосвязано, вот и человек, сколько бы ни клонился вперед, надвое не ломается.

Так обстоят дела на тысяче островов в этом архипелаге.

На десяти тысячах островов.

Местность здесь открытая и уязвимая, поэтому кому-нибудь запросто могло бы прийти в голову одеть побережье в вечную зелень, например засадить соснами или елками, наоткрывать по всей стране питомники, завозить сюда саженцы елок, раздавать их бесплатно жителям малых и больших островов, говоря: посадив на вашей земле эти ели, вы обеспечите грядущие поколения топливом и строительным лесом. Почву перестанет сдувать в море, а животные и люди найдут укрытие и покой там, где прежде их круглые сутки трепал ветер. Острова перестанут походить на вырастающие на горизонте плавучие храмы, а будут напоминать непролазные заросли осоки и конского щавеля. Нет, никому не пришло бы в голову испортить горизонт. Вероятно, важнее горизонта здесь ничего нет, он – пульсирующий во сне зрительный нерв, хотя его почти не замечают и даже не пытаются дать ему название. И не будут пытаться, пока страна не разбогатеет настолько, что начнет исчезать.

Глава 6

Снова наступила весна, и небо поднялось высоко над островами, ветра дуют холодные, обманчивые, лишь ненадолго приносящие тепло. Кулики-сороки вернулись, и теперь расхаживают возле берега, похожие на черно-белых куриц, кивают головами, зарываются клювом в песок и ковыряются, ковыряются в нем и знай себе балаболят, кулик-сорока – птица тупая, но она приносит весну. Посредине фьорда ветер внезапно стихает. Ханс Баррёй спускает парус и садится на весла. Тогда Мария тоже хватается за весла, усаживается позади мужа и стучит ему по спине кулаком, пока тот не рявкает, что ему больно и что бабье – дьявол его раздери – толком и грести не умеет. Барбру и Ингрид смеются. Одетые в синее и желтое платья, они сидят на брошенной на ахтерштевне овчине, по разные стороны от маленького чемоданчика и бездействующего румпеля.

– Гребешь криво.

– Ладно гребу, – огрызается Мария и приподнимает весло. Лодка резко поворачивает. Барбру снова смеется, хотя знает, что дальше будет: они собираются от нее избавиться.

Пришвартовавшись напротив фактории, они выходят на дорогу, Ханс с чемоданом впереди, за ним Барбру с Ингрид, а замыкает процессию Мария. Сегодня она тоже принарядилась, словно чтобы подчеркнуть всю значимость момента, решительность, в прошлый раз все пошло наперекосяк, и сейчас никто из них ни слова не говорит. Снова остановка возле мелочной лавки, снова леденец, после чего путь продолжается до дома священника, где их встречает пасторша Карен Луисе Малмберге, которая всего три года назад носила фамилию Хюсвик. Она выглядит удивительно юной рядом со своим супругом, пастором Юханнесом Малмберге, он-то успел дважды овдоветь до того, как Карен Луисе вошла в его дом и жизнь. Она бездетна, зато он нет, у него пятеро сыновей, и все они учатся где-то в городе, в семинариях. Уехав из дома, они словно бы забыли дорогу назад и больше не возвращаются.

На Карен Луисе светлое платье и белый фартук, а на ногах – и чулки, и туфли, хотя она просто дома. Она знакомится с Барбру – пожимает ей руку и приветствует ее, она порхает по дому в приподнятом настроении, словно с радостью ждала их. Она показывает им гостиные и спальни, мебель, и швейную машинку, и уют, и ведет их в комнату, где Барбру будет спать – светлую комнату с оклеенными обоями стенами, комодом, маленькой вазочкой для цветов и фарфоровой ночной вазой с синей печатью на дне.

Карен Луисе рассказывает про обязанности Барбру.

Их немного, и вообще такое впечатление, будто пасторше просто нужна компания, возможно, подруга, тем более что они ровесницы. На беленькой кухне Карен Луисе берет поваренную книгу размером с Библию и интересуется, умеет ли Барбру читать.

На этот вопрос никто из них ответа не дает.

Карен Луисе просит прощения и говорит, что это глупый вопрос, открывает главу про варенье и принимается рассказывать, какое варенье Барбру будет варить. В окно она показывает на целую армию больших и маленьких плодовых кустов, которые шестью стройными рядами тянутся до белого штaketника в противоположном конце по-весеннему бурого сада: черная смородина, красная смородина, крыжовник, а на холме малина, которая и у них на Баррёе тоже есть, подхватывает Барбру, и красная смородина, и она, Барбру, знает, сколько сахара надо...

Ханса Баррёя тянет присесть.

Он плюхается на стул, бесцельно стоящий между двумя гостиными, вроде как для красоты, это Хансу внезапно в голову пришло – вряд ли же на этом стуле кто-то хоть раз сидел. Но Ханс сел и не поднимается. Он наклоняется вперед и, закрыв лицо руками, упирается лок-

тями в колени, как будто выискивает на самом дне размышлений какой-то ответ, однако не находит, и тут у него вдруг появляется ощущение, что остальные умолкли и смотрят на него.

Ханс поднимает голову и что-то говорит, спрашивает, где пастор.

– Он на самый север острова поехал, – отвечает жена священника, – по какому-то делу к...

Они говорят про тех, к кому поехал Юханнес Малмберге, оказывается, Ханс их знает. Когда Карен Луиса ведет гостей дальше и Ханс снова остается один на бесполезном стуле, он, наконец, понимает, чего искал, вскакивает и бежит за ними в следующую гостиную, хватая сестру за руку и тащит ее во двор, не обращая внимания, что Барбру сопротивляется и хочет остаться в этом красивом доме. Немного погодя за ними выходят и все остальные – выстраиваются на каменном крыльце и удивленно смотрят на Ханса. Мария, укоризненно глядя на него, что-то кричит.

– Хочу тута остаться! – вопит Барбру.

– Нигде ты не останешься, – заявляет брат. Он тянет ее за собой к воротам, останавливается и отдувается, дожидаясь, когда Мария с Ингрид их нагонят. Мария с чемоданом в руках спрашивает, в чем дело, а взгляд у нее полон прежней укоризны, почти скорби.

– Ни в чем, – отрезает Ханс.

Они молча идут мимо мелочной лавки, но сегодня ничего не покупают, спускаются к фактории и садятся в ялик. Ханс Баррёй видит, что ветер не только переменился, но и усилился, теперь дует юго-западный. Он поднимает парус, торопится быстрее добраться до острова. А потом и дождь начинается, и чем дальше от устья фьорда, тем дождь больше похож на ливень. Барбру с Ингрид прячутся под овчиной. По крайней мере, они там пересмеиваются, и на этот раз у Ханса и в мыслях нет прятаться от чьих бы то ни было глаз, с какой вообще стати, даже от Марии, которая сидит, отвернувшись от дождя, и вода стекает по ее длинным каштановым локонам, и те становятся все темнее, словно водоросли. И обычной спасительной улыбки у нее на лице он не видит.

Ливень не прекращался до ночи, но потом сильный ветер вытолкнул его к западу и на север, буря унялась, и воздух пропитался холодом. Небо очистилось, и дождь больше не хлестал в окно, когда Мария открыла глаза и увидела, что кровать пустая. А пошарив рукой, Мария обнаружила, что кровать еще и холодная.

Она встает, бежит к Барбру и Ингрид и просит их одеться и пойти с ней на кухню, где еще не протоплено. Они спрашивают, что случилось. Ответа у Марии нет. Они топят и завтракают вместе с Мартином, тот тоже ничего не говорит, а после завтрака идет в лодочный сарай, ялика там не находит, и Мартин садится чинить сети, не закрывая дверей, чтобы все время иметь обзор на север, где фактория, церковь и деревня, он работает молча, выжидая, старательно, пока наконец не замечает косой парус, пилой рассекающий плотное море, это возвращается, зарываясь носом в волны, ялик, а времени уже вечер.

Ханс Баррёй спускает парус, ялик утыкается в каток и останавливается. Пошатываясь, Ханс перешагивает через две банки, а на форпике наклоняется, поднимает какой-то брыкающийся кулек и выносит на берег маленькую свинью, которая тут же принимается бегать по белому ракушечному пляжу и вопить. Свинья обошла в двенадцать крон, у нее всего одно ухо, а на лбу черное пятно, смахивающее на отверстие от пули. Имя ей можно дать, какое заблагорассудится. Еще Ханс привез леденцы в коричневом мешочке. Его он протягивает Барбру, после чего идет в лодочный сарай и из подборной веревки делает для свиньи привязь: завязывает с одного конца петлю и протягивает веревку Ингрид, а та стоит и смотрит на свинью, которая жует траву.

– Только учуди мне такое еще хоть раз, – говорит Мария и, не глядя больше ни на него, ни на свинью, разворачивается и идет к дому стряпать ужин. Ее супруг смотрит ей вслед с такой улыбкой, какой Ингрид прежде не видала. Девочка замечает, что мать злится весь оставшийся

вечер и почти весь следующий день. Однако затем происходит нечто невидимое, и напряжение спадает. Свинью нарекают Кашкой.

Глава 7

Постройки на Баррёе располагаются под косым углом друг к другу. Если смотреть сверху, они похожи на четыре случайно брошенные игральные кости, а еще есть отдельный погреб для хранения картошки, зимой он превращается в иглу. Между постройками уложены каменные плиты, сколочены сушилки для белья и насыпаны ведущие во все стороны дорожки, но на самом деле назначение всех этих построек – выдюжить погоду, не упасть, даже если целое море на них обрушится.

Такой хитроумно выстроенный двор – заслуга не одного человека, это плод коллективной, унаследованной мудрости, основанный на дорогом доставшемся опыте.

Но даже гениальному поступку, выношенному поколениями, не предотвратить такой приливной волны, какая бывает зимой: тогда пространство между жилым домом и хлевом заваливает плотным снегом, и в хлев, с ведрами и корытами в руках, приходится прорывать лаз.

Это явление называют тут Валом, и ни одно другое не проклиняют с такой яростью, как его, потому что Вал чаще всего нарастает, когда все и так измотаны, в январе и феврале, в декабре, да и в марте людей и животных отделяет друг от дружки стена летучего снега, и чистить его бессмысленно, хотя они чистят, вот только его тотчас же насыпает снова. Мужчины чистят снег, женщины носят воду и молоко, и обычно ничего другого не придумаешь, кроме как обходить вокруг дома и хлева, а шквальный ветер тут такой, что даже во весь рост не выпрямишься, поэтому путь получается неблизкий.

Но постройки не всегда стояли там, где сейчас, возвышаясь на самом высоком пригорке, посреди деревьев и ягодных кустов – прежде они располагались на несколько сотен метров ниже к востоку, возле бухты, которая называется Карвика. Сейчас там осталось лишь два фундамента да руины лодочного причала, похороненного под водорослями и песком. Об этом в повседневности будней никто не вспоминает, как будто никто и не знает, что кто-то когда-то там жил. Но даже у самых приземленных людей мысли иногда движутся в непривычную сторону и возникают вопросы, почему сейчас на Карвике нет построек, куда подевались все дома и что с ними случилось, с домами?

Объяснение этому наверняка трагичное и, возможно, ужасное.

Самые глубокие корни тут у старого Мартина, он почтенный рассказчик с самым высоким статусом, и у него есть свои соображения о том, почему и когда исчезла эта погибшая цивилизация, речь тут идет о его собственных предках, и он помнит обрывки фраз из детства, фотографии, рассказы и предложения. Вот только Мартин – не самый достоверный источник из-за своего почтенного возраста и неизбежной слабости, которая не только разрушает память, но и приводит с собой другие причуды и странности, выставляющие стариков на посмешище в глазах молодых, так что каждое поколение вольно помнить то, чего ему хочется, и идти собственными путями. Они, эти новые пути, тоже, скорее всего, куда-нибудь приведут, в худшем случае потащат по тому же кругу, однако до этого еще долго.

И хотя о развалинах в Карвике никому ничего не известно и объяснить, куда подевались эти два дома, никто не может, к развалинам все относятся с уважением. Их обходят стороной, дети в них не играют, птицы, даже гаги, не вьют там гнезд, а людям не приходит в голову разломать фундаменты и пустить камни на постройку новых фундаментов и стен, например тех, что разделяют сады. Для этого находят другие камни, и развалины никуда не деваются, словно памятник или кладбище, зловещие, заросшие крапивой и кипреем, источающие бесконечный холод, но в то же время и невыносимый жар. Когда смотришь с холма напротив, развалины похожи на два китайских иероглифа, написанных двумя разными руками. Зимой их присыпает снег, и на пожухшей коричневой траве они вырисовываются еще отчетливее, а потом и траву заметает белым снегом.

Глава 8

Они много раз спорили об этом. В какой комнате им спать? В той, что выходит на север, собачий холод, и когда зимой ветер дует с северо-востока, жить там невозможно, зато летом прохладно и хорошо. И звуки туда, считай, не проникают, потому что дождь, с диким грохотом обрушивающийся на дом что зимой, что летом, приходит с юго-запада. В особенно дождливое лето сено не высыхает ни на поле, ни на вешалах, – жалуется Ханс Баррёй.

– Нет уж, мать, надо нам в северную перебираться, тут не высидеть.

А когда зимой на одеяле поблескивают льдинки, он меняет мнение и говорит, что пора перебраться в южную:

– Тут от холода околеешь.

Пуховые одеяла они перетаскивают с севера на юг и обратно, потому что в каждой из спален, которые они называют залами, северной и южной, стоит по большой кровати. Ингрид спит между этими залами, в каморке, выходящей на запад. По ночам в то время года, о котором мечтают все остальные месяцы в году, солнце здесь светит посреди ночи. Спальня же Барбру располагается с восточной стороны, там, откуда приходит ведро.

Старый Мартин спит внизу, в комнате рядом с гостиной. Бывает, он оставляет дверь открытой, еще у него там собственная печка, которую он постоянно топит, потому что мерзлявый, и поэтому в гостиной часто бывает жарко натоплено, в том числе и в те месяцы, когда гостинными в этих краях никто не пользуется, то есть в совершенно обычное октябрьское или мартовское воскресенье в гостиной порой можно поужинать. И тогда Мария стелет на стол белую скатерть.

Скатерть эта с узкой каемкой с маленькими цветочками, красными и желтыми, и зелеными лианами между ними, это мать Марии их вышила, но вообще скатерть белая.

Самой Марии больше нравится спать в южной зале, хотя летом в ведро там жарко, в дождь, что летом, что зимой, сильный шум, однако из окна просматривается весь Баррёй и островки на юге, а в ясную погоду видно даже ее родной Бюёй, где она выросла, мерило всего для нее. К тому же южная зала чуть просторнее северной, так что Марии хватает места для сундука – его она ставит у перегородки – и двух тумбочек, подаренных им на свадьбу ее отцом, старая рухлядь, так он про них сказал, эти тумбочки тоже принадлежали когда-то ее матери, которая умерла совсем молодой во время эпидемии, повывосившей много народу и пощадившей лишь самых крепких.

Может, поселимся уже на одном месте, как нормальные люди? Хватит нам, как цыгане, кочевать, – говорит она.

Прирастив хозяйство свиной Кашкой, коя водворилась в крытой дерном хибаре, все равно пустовавшей, Ханс почувствовал, что надо бы сделать что-нибудь эдакое, поэтому, закончив с починкой гагачьих домиков – домиков для наседок – и посадкой картошки, вместо того чтобы резать торф, пока дни ненадолго стали длиннее, ласковее и свободнее, он берет бур, кувалду и динамит и идет к отвесной горной стене у северо-западной бухты, туда, где из стены торчат крюки, а с крюков на расстоянии в полметра друг от дружки свисают просмоленные обточенные кругляки, так что в штиль тут могут причалить крупные суда, например товарное суденышко из фактории или шхуна Хансова брата Эрлинга, который под Новый год всегда заходит к ним, чтобы забрать Ханса с его ярусными снастями, чтобы идти на Лофотены вместе.

Тамошний лодочный сарай они называют лофотенским, весь остальной год он стоит запертый, потому что хранятся в нем драгоценнейшие лофотенские снасти. Если на этом острове чего и недостает, так это настоящей пристани. Поэтому сейчас старый Мартин, без малого восемьдесят лет обходившийся без пристани, стоит во дворе, смотрит вслед сыну и задается

вопросом, действительно ли он примется, наконец, за неизбежное. Мореный лес они собирали целую жизнь, так что дело не в материале, его хватает.

Однако у Ханса Баррёя другая задумка. Он сверлит в скале десять глубоких отверстий, закладывает динамит, прилаживает фитиль, поджигает и от скалы отваливается кубометра три камня. Чересчур твердые куски Ханс разбивает кувалдой.

Он приходит домой за лошадьёй и телегой и зовет Марию с собой, по пути растолковывая ей, что для фундамента лучше «камень ломаный», гладкие камни с берега – это все чепуха, с «ломаным камнем» дело иначе обстоит, поверхность у него шершавая, такие камни держатся друг за друга и ни на миллиметр не сдвигаются.

Она переспрашивает:

– Фундамент?

Да, чтобы не перебираться из комнаты в комнату и навсегда победить ветер, надо просто-напросто продлить дом на юг, на то он и лон², смысл такого дома в том, чтобы его достраивать, пристройкой длиной в метра три-четыре – это конец их мучениям из-за солнца и дождя, в южной зале можно будет жить круглый год.

Он берет лопату, снимает добрый фут торфу, докопавшись до скалы под ним, отвозит камни домой и уже на следующий день принимается за фундамент, а Мартин с Барбру вызываются помочь ему. Барбру любит тяжелую физическую работу, она хватается с телеги здоровенный камень, делает пять шагов к стене, спрашивает брата, куда ей положить камень, и, пока Ханс не укажет место, отказывается выпустить камень из рук. Но Ханс будто бы в шутку отнимает у нее камень, Барбру краснеет, вопит, однако пальцы разжимает. Тогда они поднимают камень вдвоем и кладут его на нужное место. И Ханс спрашивает, как у Барбру самочувствие.

– Путем, – отвечает Барбру и тащит следующий камень.

Мартин смотрит на все это дурачество – а что, супружница-то разве не будет тоже строить?

Ханс делает вид, будто не слышит, хотя он и сам задается тем же вопросом. Но Мария осознала очевидное: если появится пристройка, то причины жить в южной зале исчезнут, как и возможность смотреть из окна на собственное детство там, в морской дали. Однако сказать об этом она осмеливается, только когда муж положил на фундамент лежень и собирается возводить стену. А что же тогда из окна будет видно? – спрашивает она мужа. Он убил на строительство уже почти неделю.

И тогда Мария видит то, чего прежде еще не видела: он садится на фундамент, а мужское и человеческое в нем словно бы сломалось. Мартин с отвращением уходит, чертыхаясь. Утешать мужчину не в характере Марии, поэтому она тоже разворачивается и шагает прочь по двору, зато Барбру садится возле брата и интересуется, чего тот нюни распустил, совсем как он спрашивал ее, когда они были детьми. Ханс отмахивается, вытирает пот и, взявшись за лопату, сбрасывает уложенный у стены слой торфа, сваливает все в телегу и отвозит в Выменной сад, где торф и впрямь пригодится, чтобы засыпать колдобины.

– Чего тушуешься? – спрашивает Мария, когда они садятся вечером.

– Сама-то как думаешь? – спрашивает в ответ Ханс.

На следующее утро он уплывает в деревню, а когда возвращается, ялик до краев нагружен мешками с цементом, которые Ханс взял в долг. Ханс подвозит песок и начинает лить бетон, сооружает новую стену рядом с той, что уже сложена из камней, только эта стена бетонная, а пол – скала, пускай и неровный, зато водонепроницаемый. На лежень он крепит опалубку и достраивает стену еще на фут, пока хватает цемента. Когда опалубку убирают, со стороны все выглядит как большой серый короб, у которого одна стена общая с домом. Площадь у него пять на три метра, а высота – целый метр.

² Длинный двухэтажный жилой дом, где живет семья фермера.

Это колодец.

Сколотив вместе несколько длинных досок, он приколачивает их под стрехой, так они пущены наискось и образуют прямо над колодцем воронку. Крышку Ханс сколачивает из продольных брусьев, она толстая и прочная, на ней можно стоять и сидеть, и у нее есть люк, который подвешен так, чтобы не мешался поднимать и спускать ведра.

Мартин удивленно смеется.

В тот вечер, когда они закончили приколачивать водосточный желоб к стрехе хлева, погода выдалась хорошая, и они усаживаются вечерять прямо на крышку колодца. Проходит дождливый июнь, и колодец наполняется. Вода в нем чистая и похожа на воду, в отличие от болотной жижи, которой отныне будут поить только животных. После следующего лوفотенского лова Ханс купит еще и ручной насос и установит его на кухне. Самая загвоздка не насос, а медная труба, ее надо проложить под всем домом, а зимой она, вероятно, будет замерзать. Лучше бы, конечно, было выстроить колодец с северной стороны, вплотную к кухне. В северной зале они спят, когда на юге чересчур жарко или дождь слишком шумит. А потом, когда на севере становится холодно, они берут одеяла и перебираются в южную залу. Живется им хорошо.

Глава 9

Племенными быками и баранами они меняются с жителями других островов. Когда у них самих есть баран, его не пускают пастись вместе с овцами и ягнятами, а отвозят на отдельный островок, называемый Бараньим островом. Там он пасется почти весь год, щиплет траву и водоросли, а дома он бывает примерно месяц на Рождество, да еще во время вязки с овцами. Отправляясь за ним, Ханс берет с собой Ингрид.

Ингрид боится барана, он злобный. Но отец, орудуя длинным прутом, загоняет барана на мыс, хватая его за чуб, валит на землю, связывает ноги и кладет в лодку, а Ингрид смотрит на все это и ужасается. Баран страшно шумный. Он совсем дикий. У него длинные непослушные космы, облепленные песком и землей, они бьются по копытам, у него черная, взлохмаченная шерсть, воняющая морем и хлевом. На Баррёе его сажают на привязь, но после переезда баран такой вымотанный и нестрашный, что даже не сопротивляется, когда Ханс берет его на руки и относит в хлев. Когда баран сделает свое дело, его отвезут обратно в Вэрхолмен или – правда, редко – на какой-нибудь из островов, где нет овец.

У каждого островка есть имя. Один из них называется Кнютен. Как-то раз баран попытался сбежать и доплыл до Кнютена. Когда это обнаружилось, барана просто оставили там. Спустя три дня он приплыл обратно. Будет ему урок, – сказал тогда Ханс. А Ингрид слегка напугалась. Чего он не переплыл на остров, где есть другие овцы, раз ему было одиноко? Наверно, он слепой, что ли? От этой мысли ей стало еще больше не по себе. Но ведь слышать-то даже слепой умеет?

Когда солнце прячется в пламенеющем море, на красном горизонте видно силуэт барана, он словно крошечная букашка на плоту из камней. А если ветер дует в нужном направлении, то слышно, как баран кричит.

– Бога кличет, – говорит Барбру.

С бараном все так же, как и с другими животными, – он тоже умирает. Но его закапывают. Баран – единственное животное, которое они не едят.

Глава 10

Гагу они тоже не едят, но она-то не домашнее животное, хоть они и строят для гаг маленькие каменные домики, чтобы собирать пух, а одна самочка уже много лет гнездится под крыльцом. В такое время кота несколько недель подряд не выпускают из дома. Ему это не нравится, потому что приходится сидеть в комнатухе Мартина, где нет занавесок – иначе кот подрал бы их в клочья. Кота зовут Бонкен, они завели кота, а не кошку, потому что кошка принесла бы котят и Хансу пришлось бы их топить, хотя вообще-то кошка ничем не отличается от всех остальных островитян, так что откуда бы у нее взялись котята, если она тут одна такая?

Когда погода в начале лета плохая и не дает работать на дворе, Барбру с Марией вооружаются чесалками для пуха и вычесывают гагачий пух. Ничего ценнее и загадочнее этого пуха они в руках не держали. Поднесешь пух к лицу – и ощущаешь далекое, благословенное тепло. Сожмешь его в ладони – и все твои чувства убеждают тебя, что это лишь воздух, но разожми ладонь, и пух, как ни в чем не бывало, серым облаком расплзется во все стороны.

Готовя пух на продажу, его заталкивают в холщовые мешки и затягивают каждый мешок веревкой, на которой болтается бирка. На бирке указывается год, когда собрали пух, название острова и вес – один килограмм. Килограмм пуха невероятно большой и ужасно легкий. Поэтому даже самая высокая цена за него все равно смехотворно низкая. И поэтому они оставляют много пуха себе. Это Ханс придумал. Они укрываются пуховыми одеялами, прямо как богатые горожане, а еще убирают пух на самый сухой сеновал над хлевом и дожидаются, когда цены поднимутся, чтобы продать его вдвое дороже, чем дадут за него на летней ярмарке или в фактории у Томмесе: пух дешевле всего, когда его все продают, и дороже всего, когда продает только Ханс. Он – единственный островитянин, у кого это получается. Возможно, причина в том, что народ на Баррёе живет капельку сытнее, чем другие, ведь на Лофотенах Ханс получает целую долю, а может, причина в том, что жители Баррёа терпеливее остальных. Когда живешь на острове, терпение требуется большое.

Барбру не любит чистить пух, руки у нее слишком неловкие, поэтому с того лета, когда Ингрид исполнилось четыре, она тоже помогает матери. Ингрид обожает пух, сперва ей просто нравилось играть с ним, наводя беспорядок на небольшом столике, за которым они работают. Но потом Ингрид обнаружила, что когда держишь в одной руке шарик неочищенного пуха, а в другой – шарик очищенного, то ты просто не можешь не очистить грязный от всех этих веточек, и травы, и мелких ракушек, с которыми невозможно жить, чтобы не помереть.

Это мать ее научила: велела Ингрид закрыть глаза и нащупывать руками пух, очищенный комком и неочищенный, а сама считала вслух, но, досчитав до десяти или одиннадцати, умолкла, увидев по улыбке дочери, что та поняла, в чем смысл. То, что ты сейчас выучила, ты уже никогда не забудешь, – сказала Мария.

С тех пор Ингрид чешет пух быстрее, чем Барбру, а ту освободили от мытарств, теперь она сидит в хлеву или лодочном сарае и, совсем как мужчина, чинит сети.

Глава 11

Барбру и вязать сети умеет, новые делать, и тресковые, и на сельдь, и на камбалу, и даже трехстенную путанку. За этим занятием Барбру и просиживает почти всю зиму, пока Ханс на Лофотенах. Новые сети хороши тем, что они чистые, сухие и не воняют, знай себе сиди в кухне с челноком и иголкой, вяжи да грей спину у печки, какой бы холод ни стоял на дворе.

Но Мартину это не нравится – снасти полагается ладить на улице или в лодочном сарае, не след этим на кухне заниматься.

Чистить и чинить сети на морозе – работенка хуже не придумаешь, потому что в варежках ее не сделать, от нее здесь, на побережье, у каждого руки в негодность приходят, поэтому Мартин считает, что работать с сетями сухими и новыми само по себе подарок, так что не хватало еще делать это в доме, где под боком печка с пылающей дерниной, это уж не просто излишество, а совсем уж слабоумие, а Мартину лучше не напоминать о том, какой уродилась его младшая дочь.

Барбру на сетованья отца плевать.

Всем остальным тоже. Так стало всего несколько лет назад, когда именно, никто из них не сказал бы, однако в один прекрасный день Мартин перестал все здесь, на острове, решать. С того дня слово было за Хансом.

Но если все остальные забыли, то сам Мартин помнит: это случилось, когда они с Хансом обмозговывали, что делать со стволом русской лиственницы, и им ничего в голову не шло. Они с сыном собрались поддеть его рычагом и, навалившись, уложить на козлы, однако когда Мартин ухватился за рычаг, силы словно провалились куда-то вниз, как бывает, когда пытаешься упереться ломом в топкое болото. В голове перещелкнуло. Отдуваясь, Мартин опустился на землю, а сын стоял и один держал на своих плечах всю тяжесть.

С того дня все стало иначе.

Остальные тоже это заметили.

Даже Ингрид теперь строптивится – например, когда дедушка запрещает ей что-нибудь, она не смиряется, а идет к матери, и та разрешает то, что не позволяет Мартин. Порой Мария встает на сторону свекра, но поступает так не ради него. На самом деле на его мнение ей плевать и на его присутствие тоже.

Мартин с этим смирился.

Но озлобился.

В молодости, которая у мужчины продолжается много лет, он никогда не злился, а теперь злится постоянно. До этого тоже никому нет дела. В начале лета кот ночует у него на животе. Через тонкую стенку слышно, как храпит Мартин и мурлычет кот. Это кажется всем смешным. Когда гага под крыльцом высидит, наконец, птенцов и проводит их долгой дорогой до моря, кота выпускают наружу, и весь оставшийся год он спит на кухне, на полу перед печкой – это когда он не гоняет мышей и птенцов.

Кота Бонкена ждала трагическая кончина.

Его забрал орел. Случилось это в сенокос. Они услышали вопли, оторвались от сушилок для сена, опустили вилы и увидели черное дергающееся пятно под раскинутым крыльями морским орлом. Кот вырывался, царапался и шипел, и на миг им показалось, будто он вот-вот освободится. Так и произошло. Но лишь когда кот начал падать, они осознали, насколько там высоко. Раскинув в стороны лапы, совсем как летучая мышь расправляет крылья, он летел вниз, отвесно, в бесконечность, пока совершенно беспричинно не стал зачем-то перебирать лапами, словно падать ему надоело и он решил побежать, вот только вместо этого перекувыркнулся в воздухе на спину и хребтом упал на конек лофотенского лодочного сарая.

Даже для кошки высокогато, – сказал Ханс. На острове эти слова превратились в при-слолье, когда что-нибудь оказывалось не под силу даже островитянам.

Ингрид и Барбру похоронили Бонкена на краю Розового сада, а на могиле выложили ракушками сердечко. Барбру спела псалом. Ингрид поплакала. Спустя неделю Ханс привез новую кошку. Это была кошечка, и назвали ее Карнут, в честь одного мужчины, с которым Ханс вместе ходил в школу и который, по мнению Ханса, смахивал на кошку. Когда они были маленькие, то называли его коточеловеком. Кошка Карнут была бежевая и красивая, как свежий творог, изящная и ласковая, и когда мужчины уходили куда-нибудь, ей разрешалось лежать на кухонном столе. По ночам она спала в ногах у Ингрид. На острове кошку называли дневной, потому что она спала в то же время и так же долго, как люди. Но когда в следующем году под крыльцом опять обосновалась ковыляющая вразвалку гага, Карнут тоже заперли в доме. Гага – птица священная.

Глава 12

Зима начинается со шторма. Первый зимний шторм – так его называют. Здесь бывают шторма и еще раньше, например они могут внезапно и безжалостно перевернуть жизнь с ног на голову в августе и сентябре. Но эти, как правило, короткие, и один из таких штормов сшибает листву. Как уже сказано, деревьев на острове немного, зато ягодных кустов достаточно, и карликовые березы есть, и ивняк, в начале осени листья на них желтеют, коричневеют, краснеют, и все с разной скоростью, поэтому несколько сентябрьских дней остров похож на радугу. Так он и выглядит, когда внезапный шторм, накрыв остров, стряхивает все разноцветье в море, превращая Баррёй в полинявшего зверька – таким остров остается до следующей весны, когда остров уже не похож на беловолосого покойника, закутанного в метель и лепень, а свирепый снег выпадает и исчезает, и снова выпадает, и укладывается в сугробы, точно подражая морю. Но такой шторм всего лишь повторяет тот, что уже случался здесь, островитяне даже помнят, когда это в последний раз было – в прошлом году.

А вот первый зимний шторм, напротив, – дело совсем иное. Он каждый раз одинаково немислимый и всегда неизбежно серьезен, такого еще ни разу не бывало, хотя в прошлом году случилось то же самое. Однако здесь память сбоит, все позабыли, каково оно было, не придумали ничего лучше, как прогнать воспоминания куда подальше, побыстрее выбросив их из памяти.

Пришедший к ним шторм уже больше суток свирепствует с неприкрытой яростью, словно желтыми клочками ваты забрасывая остров пеной, вколачивая в него твердый, как град, дождь, отгоняя от него полную воду прилива. Ханс трижды выбирался из дома и привязал все, что, как ему казалось, и привязать нельзя. Прямо у него на глазах одну овцу унесло в море, после чего Ханс запер всех оставшихся в лодочном сарае: овец забить не успели, и в доме для всех места нет, в сарае он привязывает их к ялику, а тот еще и швартует, чего только не придумаешь, когда на тебя обрушивается Первый зимний шторм.

Крышку нового колодца он забил растяжками, на это у него несколько часов ушло. Потом он собрал новые доски, сорванные с крыши и разбросанные по земле, придавил их тяжелыми камнями и лишь после, скрючившись, поковылял домой, насквозь вымокший и такой странный, что Ингрид не сразу его узнала.

Она не любит такие шторма: дом трещит, в трубе кто-то дудит в дудку, весь мир переворачивается с ног на голову, а когда мать берет ее с собой в хлев, ветер вышибает воздух у нее из легких, выдавливает воду из глаз, швыряет ее о стены и согнутые деревья и загоняет всю семью в кухню и гостиную, где все равно глаз не сомкнешь. Когда Зимний шторм хозяйничает на острове, притихает даже Мартин. Он натягивает на лоб шапку и неподвижно сидит, накрыв каждое колено рукой, похожей на пустую неподвижную ракушку. Иногда руки его обнимают Ингрид – та бежит от деда к столу, печке и кладовке, сидит, болтая ногами, на ящике с торфом, а затем опять бежит к деду, хватая его за руки и машет ими, как будто он плюшевый мишка.

Лица взрослых точно из камня высечены. Взрослые перешептываются, переглядываются, пытаются смеяться, но, признав собственное притворство, снова делаются серьезными: дома на Баррёе пока выдюживают, но то вчера было, а про сегодня никто не поручится, и в Карвике тоже когда-то дома стояли, а теперь их нет.

Особенно страшно смотреть на отца. Не знай Ингрид наверняка, решила бы, что он боится, но он никогда не боится. Островитяне не боятся, иначе жить тут не сможешь, соберешь скарб, снимешься с места, переберешься на другое и обоснуешься в лесу или долине, как все. Когда случается ужасное, островитянин мрачнеет и цепенеет, только не от ужаса, а от серьезности.

Серьезность эту не поколебать, даже когда глава семейства, в очередной раз выйдя на улицу, возвращается с окровавленным лицом и, ухмыльнувшись, говорит:

– А погодка-то лучшеет.

Они не сразу понимают, что он шутит, они вытирают с него кровь и видят, что у него лишь небольшой порез на подбородке, Ханс просит кофе и говорит, мол, старая рябина к восходу гнется, и тогда всем становится ясно, что жестокий юго-западный ветер превращается в западный, а это первый признак того, что ураган сворачивается в обычный шторм и скоро двинется дальше на север, скукожится до ветра и, наконец, стихнет настолько, что опять можно будет носить в хлев воду, не боясь, что дойдешь с пустыми ведрами.

Барбру с Марией тут же берутся за ведра и умудряются дотащить их, расплескав лишь половину. Ханс же стоит посреди кухни и потирает ранку на подбородке, как вдруг в голову ему приходит идея и он велит Ингрид одеться, они пойдут смотреть на море: она научится не бояться его, если увидит самый свирепый, самый внушительный его лик.

Он и сам не понимает, как ему такое придумалось.

И она не понимает. Но Ханс одевает ее, хотя Мартин качает головой, и обвязывает Ингрид веревкой вокруг талии. Они выходят под пенящееся небо, бредут к югу, шагают против потока ветра и воды, с трудом перелезают через три каменные изгороди и прячутся за ними, переводя дыхание, снова двигаются вперед, каждое препятствие вызывает у отца смех, чтобы хватало дыхания, Ингрид закрывает руками лицо, вот и небольшой холмик за русской листовницей, последняя преграда перед ревом моря, оно накидывается на них, свирепые стены воды, которые вздымаются вверх во тьме ночи, и обрушиваются на них, и разбиваются о камни, и берег, и утесы, так что в лицо им шипят песок, и ракушки, и лед, потому что на это смотреть нельзя, нельзя осмыслить, нельзя запомнить, это трубный глас Божий, и его надо в одночасье забыть.

– Это нестрашно! – кричит ей в ухо отец.

Но она не слышит. Никто из них не слышит. Он кричит, что острову ничего не сделается, она же видит, хотя остров дрожит, а небо и море преображаются, но остров ничем не потонет, пускай он даже и трясется, он все равно непоколебимый, вечный, намертво приделанный к земному шару. Да, в эту секунду Ханс делится с дочерью почти священным откровением, потому что сына у него нет, и с каждым проходящим днем крепнет его уверенность в том, что никогда и не будет, что придется ему довольствоваться дочерью, передать ей главное знание: остров никогда не уйдет под воду, никогда.

Позже, вспоминая тот вечер, Ингрид будет удивляться, я никогда его не забуду, – скажет она, но это когда шторм давным-давно стихнет и уйдет в прошлое, неизбежное вернется. Но вопрос об острове не унесло ветром, на этот раз задал его не отец, а мать: когда они, спотыкаясь, добрались до дома, она встретила их пронзительными воплями, сетуя, что стоит ей в хлев выйти, как этот болван, который достался ей в мужья, так и норовит потащить ребенка на верную смерть, и если он хоть раз еще такое удумает – «тогда разведусь и уеду отсюда!».

Этому просоленному дому не впервой выслушивать такие фразы, нервы у его обитателей стальные, однако лишь сейчас Ингрид осознает смысл сказанного: остров можно покинуть.

Она принимается плакать, и Мария далеко не сразу понимает, что причина слез – не шторм, а ее собственные слова, хоть они и не значат ровным счетом ничего, просто звуки и угрозы. Но заставить себя произнести это вслух у Марии не получается, не получается сказать, что Баррёй они никогда не покинут – нет, это немислимо, особенно когда Первый зимний шторм хрипит, умирая, за скрипящими стенами, в такой момент человек не в себе и не в состоянии усвоить, что если уж живешь на острове, то никуда тебе оттуда не деться, все свое остров держит цепко, изо всех своих сил.

Глава 13

В последующие дни они прочесывают побережья на южном берегу острова, Ханс Баррэй – с вилами, Мартин с багром, а остальные – с граблями. Они ворошат кучи выброшенных штормом на берег водорослей – мощные, коричневые сосиски, завалившие землю, повисшие на изгородях, переплетенные друг с дружкой, словно плотные скользкие веревки, островитяне ворошат их и находят кусочки древесины, и корзины для хранения канатов, и подозрительную коробку из-под чая с нарисованным на крышке скорпионом, а еще настенные часы без механизма и разбухшую от воды книгу без букв – они поднимают эти предметы, разглядывают и с возгласами удивления показывают друг другу, после чего складывают находки в тачку, в которую впряжен сутулый конь; он жуёт губами, а потом, устав стоять, ложится в траву и теперь лежит между оглоблями, словно корова.

Конь.

Это немолодой конь. Он появился на острове уже немолодым. Его привезли на корабле, такого большого корабля Ингрид сроду не видала, коня подхватили за ремни и краном спустили с корабля и поставили на площадку возле лофотенского лодочного сарая, там, где однажды построят пристань. Конь заметался, во взгляде светилось безумие, он закатывал глаза, и лягался, и ржал, и кусался. Ничего не оставалось, кроме как освободить его и отпустить бегать, пока не опомнится. А конь был вроде как спокойный, по крайней мере таким он казался Хансу на лугу перед факторией. Вообще-то свое он уже отработал. Поэтому и достался Хансу так дешево. Почти за бесценок.

Впрочем, наблюдать за этим новым жителем острова было занятно. Словно обезумевший, он проскакал остров до противоположного берега, резко развернулся, наткнувшись на восточной стороне на море, и помчался на юг, где его снова ждало море, тогда он опять повернул и побежал на север. Старичье, а вспомнил былую норовистость и давай метаться по своему новому дому, снова и снова натыкаясь на стену моря, пока не побывал в каждом его закутке и закоулке и не удостоверился, что попал на остров, который не покинуть. Ему тоже не покинуть.

Но конь был совсем недобрый.

Он стоял в хлеву вместе с другими животными, однако кормушку ему выделили свою, а от коров отгородили перегородкой, потому что конь кусался, и справлялся с ним только Ханс, поначалу пинками и кулаками. Но со временем они пришли к своего рода согласию: конь обычно поступал, как ему вздумается, и это всех устраивало, коль скоро он перевозил сено, торф и сеялку, применение которой находилось только на четырех самых плоских лугах, и еще таскал незамысловатый плуг, доставшийся Хансу в придачу к коню же, – плугом рыхлили картофельные поля, чтобы сажать было проще, и по всему поэтому Ханс смотрел сквозь пальцы на то, что конь то и дело засыпал и неожиданно вскидывал голову, не давая дочке кататься на нем, даже когда его вели в поводу. Но имени у коня не было.

Все дикое на острове имеет имя.

Заячья трава, клевер, золотой корень, журавельник, лютики, ятрышник, таволга, дягиль, колокольчики, наперстянка, камнеломка, ромашка и щавель. Серебристая чайка, гагарка, баклан, кайра, тупик, цапля, бекас, кроншнеп, каменка и трясогузка. Водяная крыса и морской еж, морской черенок, исполинов котел и северный кряж, вороника, вереск, ревень, крапива и лебеди-кликуны, приветствующие два времени года своими скорбными трубными криками... У всей домашней живности два имени – у коров, овец, кошек и даже свиньи, которая прожила всего полгода, а вот у коня имени нет, и это вдвойне примечательно, потому что он не просто домашнее животное, но и не похож ни на кого из своих собратьев, однако с этим конем вообще так, он ни на кого не похож.

Тачка полна, и Ханс, наградив коня пинком в ребра, заставляет его подняться, цокает языком и идет рядом с ним, по садам, до лодочного сарая на северном берегу, где дает коню сухого сена в холщовом мешке, а мешок привязывает к двери, чтобы конь не утащил его.

Островитяне разгружают все, что принес шторм, сортируют добычу – в основном это дрова, их распиливают и укладывают в штабель, но есть еще двадцать восемь кухтылей, их Мартин найдет как приспособить, и пять сигнальных вех с буйами и без, за одной тянется сто восемьдесят футов канатов – их Ханс сматывает и вешает на крюк в лодочном сарае. Четыре целых крючка с остатками снасти, пять ящиков для рыбы, которые распихали по обоим лодочным сараям, три корзины для канатов, одна без ручки, но Мартин обещается починить ее, еще жердь, достаточное для половины вешал, корабельный люк от трюма, поднять который можно лишь вдвоем, шесть рыбацких сапог, все на левую ногу и только один непригодный, потому что пятка у него отрезана, а может, откушена.

И карнавальная маска.

Ханс подносит ее к лицу, хочет напугать Ингрид, но срывает ее с себя, запах у маски неприятный, и ее лучше сперва вымыть в горячей воде.

Маска изображает дьявола, с молниями вместо бровей, черными усами и пустыми глазами, беззубым ртом и высокими белыми скулами с красными завитками, из-за которых рожа кажется одновременно опасной и добродушной. Отчаянная рожа с разинутым ртом. Как выяснится, когда с нее смоят слизь, и водоросли, и налет, – очень красивая, удивительного оттенка, словно покрытая потрескавшимся лаком, загадочная, так что ее повесят на стену в парадной комнате, и она будет висеть там незнамо сколько, пока не заметит пришлый гость и не предложит за нее немалые деньги. Он скажет, что, разумеется, таких денег она не стоит, но интересен сам факт, что маска, совершенно инородное здесь тело, висит в скромном доме на уединенном острове, это наверняка знамение, говорит гость, однако в подробности не вдается.

Тем не менее этот разговор вызывает у островитян недоверие, и маску они продать отказываются, пускай и дальше висит себе на стене, теперь они знают, что маска французская, пить-есть она не просит, а верят они не в знамения, а в Господа Бога.

После шторма они еще находят пять просмоленных бревен, все с просверленными в них отверстиями, во многих даже болты сохранились, и все отверстия чистые. Это позволяет предположить, что бревна были когда-то пристанью. Значит, кого-то шторм лишил целой пристани, причем довольно новой. И те, кому эта пристань принадлежала, живут где-то неподалеку, может, это даже кто-то из знакомцев с островов чуть к югу, поэтому Ханс с Мартином выживают бревна и складывают туда, где лежат все остальные бревна, которым суждено когда-нибудь превратиться в их собственную пристань, но чуть поодаль. Все, что приносит штормом, принадлежит тому, кто это нашел, однако, решают они, на такие ценные бревна это правило не распространяется, это все равно как если тебе лодку течением принесет, с номером и названием, такая лодка принадлежит владельцу, а уж там видно будет. Стройматериалов у них сейчас много даже и без этих новых бревен, и они еще на шаг приблизились к уверенности – уверенности в том, что без пристани жить тут больше нельзя.

Глава 14

В феврале море бывает бирюзовым зеркалом. Заснеженный Баррёй похож на облако на небесах. Мороз раскрашивает море в зеленый, делает его прозрачнее, спокойнее и плотнее, словно желе. Потом оно порой застывает и покрывается коркой, перетекает из одного состояния в другое. Вокруг острова нарастает ледяная кайма, покрывающая и соседние островки, остров увеличивается.

Стоя в толстых шерстяных носках с подметкой на стеклянном полу между островом и Молтхолменом, Ингрид видит под собой водоросли, и рыб, и ракушки в летнем обличье. Морские ежи, и звезды, и черные камушки на белом песке, и рыбы, снующие в лесу бурых водорослей, – лед точно увеличительное стекло, прозрачный, как воздух, Ингрид парит над ними, ей шесть лет, и не ходить по льду невозможно.

Она наблюдала, как он становится все толще, она пробивала в нем дырку камнем, она стащила отцовский топор и колотила лед топором, она ползла по нему, фавн за фавном³, а по тому, что не бьется, можно ходить.

Сейчас, полусонная, она идет на Молтхолмен, тоже напоминающий облако на небе, сидит на снегу, запыхавшись, поняв вдруг, что на суше не безопаснее, чем на льду. Ингрид снова крадется ко льду и, пошатываясь, возвращается назад, в целом мире ни единого звука – ни от ветра, ни от птиц, ни даже от моря.

Она разбегается и скользит, бежит, бросается на живот и скользит обратно к острову, и до берега остается фавнов десять-двенадцать, когда тишину разрезает крик. Это мама – она увидела ее со двора, и теперь, размахивая руками и открыв рот, спешит к берегу, перелезает через изгороди, взбирается на холмы, так что снег из-под ног разлетается.

Но на берегу она останавливается, будто в стену уткнувшись, и принимается бегать туда-сюда вдоль преграды, которой на самом деле нет. Ингрид смеется. Она вновь разбегается и скользит, а мама кричит – нет, нет, и все бежит по берегу перед невидимой стеной, пока взгляд у мамы не меняется – тогда она делает первый шаг, раскинув руки, словно канатоходец, она затаила дыхание и кусает губы, и гнев стихает, лишь когда она прижимает к себе дочь и чувствует, что теперь обе они спасены.

Тогда она замирает, и стоит, и оглядывается, глазам собственным не веря, они парят над водой.

– Пошли, – говорит она.

Они делают несколько шагов, разбегаются, скользят последние несколько фавнов до берега, смеются и отдуваются. Но там Ингрид вырывается и опять бежит на лед, а Мария кричит – нет, нет, но торопится следом. Держась за руки, они скользят по льду вдоль суши, на север, заглядывают в бухты, огибают мыс, между мелкими шхерами и островками, а затем слышат, как их кто-то зовет, и замечают Барбру – со стулом в руках она вышла из лодочного сарая и испуганно уставилась на них. Они возвращаются на берег и тащат ее за собой, сажают на стул и крутят, толкают стул мимо северной оконечности острова, но и на этом не останавливаются, потому что Барбру тоже вошла во вкус, они толкают стул с сидящей на нем Барбру, она визжит и вопит, они огибают Дальний мыс и катят до самых развалин в Карвике.

Домой идут по снегу и тащат стул. Барбру не разрешается выносить его из дома, даже в лодочный сарай, где она чинит сети.

Мартин – единственный, кто не ходит по льду. Он сидит в доме и не верит их рассказам о том, что на море лед, льда тут отродясь не бывало, при таких приливах и отливах это невоз-

³ Мера длины, соответствующая 1,8 метра.

можно, даже если очень холодно и безветренно. Выйти, чтобы воочию убедиться, он тоже не желает. Однако когда его сын в очередной раз возвратился с Лофотен живым – примерно в то же время, когда прилетел кулик, – и спросил, что нового, Мартин рассказал, что зимой море сковало льдом, и лед этот лежал вокруг всего острова, всего несколько часов лежал, но такой прочный был, что по нему ходить можно было, но потом налетел ветер, лед растрескался и его выбросило на берег, где он и пролежал, словно холм битого стекла, много недель, а потом растаял, и было это в конце марта. Тогда сын спросил, не съехал ли старик с глузду. И старый Мартин пожалел, что рассказал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.